

I

Фотография

Она ссутулившись сидит на пластиковом стуле на фоне кирпичной стены. Выглядит паинькой, волосы разделены прямым пробором. Губ почти не видно, но ясно, что улыбается. И поначалу улыбка кажется искусственной, но чем больше я приглядываюсь, тем больше убеждаюсь, что на самом деле она беспечная и даже, пожалуй, какая-то безответственная. В руках у нее сверток с новорожденным, лицо у того красное, по-стариковски сморщенное; по голубому кантику на одеяле я понимаю, что это мальчик. Потом смотрю на мужчину, стоящего за спиной Петроны. У него пушистые африканские волосы, он красив, он вцепился в ее плечо своей проклятой рукой. *Я знаю, что он сделал, думаю я, и мне становится дурно, но кто я такая, чтобы решать за Петрону, кого пускать на семейный портрет, а кого нет?*

На обороте стоит дата, когда фотография была сделана. Я отсчитываю девять месяцев назад и понимаю, что ровно за девять месяцев до этого мы с моей семьей бежали из Колумбии и прибыли в Лос-Анджелес. Переворачиваю снимок и внимательно смотрю на малыша, разглядываю складки и выпуклости вокруг темной дыры его раскрытого рта, чтобы понять, смеется он или плачет, потому что точно знаю, где и как он был зачат, и оттого

теряю счет времени и думаю, что это я виновата в том, что Петроне было всего пятнадцать, когда в ее животе поселились эти косточки. И когда мама приходит с работы, она не кричит (хотя видит фотографию, конверт и адресованное мне письмо от Петроны) — нет, мама садится рядом, словно снимая тяжелый груз с души. Мы вместе сидим на грязном крыльце дома на улице Короны в Восточном Лос-Анджелесе, молчим и сожалеем, глядя на чертову фотографию.

* * *

Мы были беженцами, когда приехали в США. *Теперь вы в безопасности, радуйтесь*, говорили нам. *Постарайтесь ассимилироваться*, говорили они. Мол, чем скорее мы станем такими же, как они, тем лучше. Но определиться с выбором было трудно. Америка была страной, которая нас спасла; в Колумбии мы стали теми, кем стали.

Для превращения в американца существовала нехитрая математика: надо было знать сто исторических фактов (*назовите хотя бы одну причину Гражданской войны; кто был президентом во время Второй мировой?*) и провести на североамериканской земле пять лет, никуда не уезжая. Мы выучили факты и никуда не уезжали, но по ночам, когда я закидывала ноги на стену и клала голову на подушку, я думала: *а где моя родина сейчас, когда я лежу с задранными вверх ногами?*

Когда мы подали на гражданство, мой акцент уже стал менее заметным, и это была единственная ощутимая перемена во мне за все время. Год нас игнорировали. Мы похудели. Поняли, как мала наша ценность, как ничтожны наши притязания в этом мире. После оплаты сборов за подачу заявления денег совсем не осталось, и идти было некуда. Потом нас вызвали на собеседование, устроили еще одну — последнюю — проверку и одобрили нашу заявку.

На церемонии показывали ролик с белоголовыми орланами и артиллерийскими залпами. Мы принесли присягу. Я спела наш новый гимн, и нам сказали, что мы теперь американцы. Другие новоиспеченные американцы ликовали, а я вышла во дворик и запрокинула голову. Глядя на качавшиеся на ветру пальмы, я понимала, что в такой момент положено думать о будущем и представлять, каким радужным оно станет, но все мои мысли были о Петроне и о том, что, когда мы виделись в последний раз, ей было пятнадцать, как мне сейчас.

Я нашла ее адрес в старом мамином ежедневнике. Но адрес был неточный, просто описание, как найти в Боготе нужный дом: *Петрона Санчес, инвасьон¹ между 7 и 48 ул., 56 км, дом с кустом сирени*. Я заперлась в ванной, включила душ и, пока ванная наполнялась паром, написала письмо. Я не знала, с чего начать, поэтому воспользовалась планом, которому нас учили в средней школе:

Шапка (*3 февраля 2000 года, Чула Сантьяго, Лос-Анджелес, Соединенные Штаты Америки*); уважительное обращение (*Querida Petrona*); само письмо должно быть написано простым и точным языком (*Петрона, как поживаешь? Как семья?*); не забыть разделить текст на абзацы и выделить их красной строкой (*Моя семья в порядке. / Я читаю «Дон Кихота». / Лос-Анджелес — очень красивый город, но с Боготой не сравнится*).

Далее нужно было переходить к прощанию, но я написала еще — что я чувствовала, когда мы бежали из Колумбии; как мы сели на самолет сначала из Боготы до Майами, затем до Хьюстона и, наконец, до Лос-Анджелеса; как я молилась, чтобы нас не задержала иммиграционная служба и не отправила обратно; как все время думала обо всем, что мы потеряли.

¹ Инвасьон (*исп. invasión*) — так в Боготе называют районы трущоб. — *Здесь и далее примеч. перев.*

В наш первый день в Лос-Анджелесе солнце слепило глаза, и я уловила запах соли с океана. (*Соль обожгла мне ноздри, когда я вдохнула.*) Я написала целый трактат про соль, несколько абзацев, и никак не могла остановиться (*Мы мыли руки с солью на удачу. / Мама сэкономила, боялась потратить все деньги, но соль покупала всегда. / Я прочла в журнале, что соль содержит костный порошок, и сначала решила, что это мерзко, но потом поняла, что и в океане полно костей животных. Песок на пляже тоже состоит из растертых костей, хотя бы частично.*) В конце концов мне стало казаться, что «соль» — это что-то вроде кодового слова. *Но я привыкла, написала я, и больше не чувствую запах соли.*

Я завершила письмо этой фразой не потому, что так решила, а потому что слов вдруг не осталось.

Но я так и не задала единственный вопрос, ответ на который хотела знать: *Петрона, что стало с тобой, когда мы уехали?*

* * *

Когда от Петроны пришел ответ, я попыталась искать скрытые смыслы в обыденных строках — погода хорошая, к их дому в инвасьоне теперь ведет мощеная дорога, созрели латук и капуста.

Но в конечном счете было неважно, что ее ответное письмо состояло из банальностей, ведь все нужные мне ответы были на фотографии, которую она сложила пополам и вложила в письмо, а потом облизала конверт, заклеила его и вручила почтальону. Письмо проделало тот же путь, что когда-то проделала я, — из Боготы в Майами, потом в Хьюстон, потом в Лос-Анджелес, — и прилетело в наш дом, принеся с собой обломки прошлой жизни.

2

Девочка Петрона

Девочка Петрона появилась в нашем доме, когда мне было семь, а моей сестре Кассандре — девять. Петроне было тринадцать, и она окончила всего три класса. Она стояла у ворот нашего трехэтажного дома с потрепанным коричневым чемоданом в руке и в желтом платье, доходившем ей до щиколоток. Волосы были коротко подстрижены, а рот разинут.

Сад бездной простирался между нами. Мы с Кассандрой смотрели на девочку Петрону, прячась за двумя крайними колоннами нашего дома. Белые колонны вырастали из крыльца и поддерживали крышу второго этажа. Второй этаж навис над первым, как верхняя челюсть у человека с неправильным прикусом. Типичный для Боготы дом, имитация старинного колониального стиля: белый, с большими окнами, закрытыми черными коваными решетками, и крышей, выложенной сине-красными черепицами в форме полумесяца. Такие дома стояли на нашей улице в ряд, отделенные друг от друга садовыми стенами.

Не знаю, почему девочка Петрона смотрела на наш дом разинув рот, но мы с Кассандрой тоже разинули рты и уставились на нее с изумлением. Девочка Петрона жила в инвасьоне. Инвасьоны в Боготе располагались почти на

всех высоких холмах: это были муниципальные земли, захваченные нищими и бездомными. Наша мама тоже выросла в инвасьоне, но не в Боготе.

Кассандра выглянула из-за колонны и сказала:

— Глянь, какое чудное платье, Чула. И у нее волосы как у мальчика. — Ее глаза за очками округлились. Очки Кассандры занимали пол-лица. Огромные, в розовой оправе, сквозь них были видны все поры на щеках.

Мама помахала девочке Петроне с порога и выбежала в сад, стуча каблучками по плитке. Ее волосы подпрыгивали в такт шагам.

Девочка Петрона смотрела на маму.

Мама была редкой красавицей. Так люди говорили. Незнакомые мужчины на улице останавливались и рассыпались в комплиментах: какие восхитительно густые у нее брови, как манят ее темно-карие глаза. Мама не тратила часы на косметику, но каждое утро просыпалась и подкрашивала брови толстым черным карандашом, а раз в месяц ездила в салон и делала педикюр, и не уставала повторять, что не пожалеет на это никаких денег, потому что глаза — ее главная краса, а маленькие ухоженные стопы свидетельствуют о ее невинности.

Вечером накануне приезда Петроны мама разложила карты Таро тремя стопками на кофейном столике и спросила: «Стоит ли доверять этой Петроне?» Она задала этот вопрос несколько раз разными голосами и наконец почувствовала, что он идет от сердца; потом взяла верхнюю карту из средней стопки. Перевернула, положила перед собой; это был Шут. Ее рука застыла в воздухе: она уставилась на карту, лежавшую вверх ногами. Белый мужчина, улыбаясь и занеся одну ногу в широком шаге, мечтательно смотрел на небо; в руке он держал белую розу, а на плече висела золотая сумка. На нем были лосины, сапоги и летящее платье, как у средневековых принцев; у ног скакала белая собачка. Под ноги он не смотрел, а зря — он стоял на краю обрыва, еще полшага — и полетит вниз.

Мама собрала карты, перемешала.

— Что ж, нас предупредили, — сказала она.

— А папе скажем? — спросила я.

Папа работал на нефтяном месторождении в Синселе-хо, и точное время его возвращения предсказать было невозможно. Мама говорила, что ему приходится работать далеко, потому что в Боготе нет работы, но я знала одно: иногда мы ему о чем-то рассказывали, иногда нет.

Мама рассмеялась.

— Да ладно. Ты попробуй найти в этом городе девочку, которая не связалась бы с хулиганами. Взять хоть Долорес с соседней улицы: ее служанка оказалась из банды, и они ограбили дом Долорес, все вычистили, забрали даже микроволновку.

Мама жирно подводила глаза, у края век стрелки загибались вверх. Когда она улыбалась, стрелки пропадали в складочке. Заметив мое встревоженное лицо, она ткнула меня в ребра.

— Ты слишком серьезная. Не переживай.

В саду Кассандра прошептала из-за колонны:

— Эта Петрона и месяца не протянет; взгляни на нее, пугливая, как комарик.

Я моргнула и поняла, что Кассандра права. Девочка Петрона вся съежилась, когда мама открыла калитку.

Маме никогда не везло со служанками. Прежнюю, Хульету, уволили, когда мама вошла на кухню как раз в тот момент, когда та собрала слюну во рту и собиралась плюнуть в мамин утренний кофе. Мама потребовала объяснений, а Хульета ответила: «Сеньора, вам просто показалось». Через секунду мама вышвырнула ее вещи на улицу, а саму служанку схватила за воротник и прошипела: «И чтобы я тебя больше не видела, Хульета, не вздумай возвращаться». Потом вытолкала ее за дверь, а дверь с шумом захлопнула.

Мама обычно нанимала девочек, оказавшихся в трудной ситуации. Подкарауливала чужих служанок и давала

им свой номер телефона — вдруг кому-то из их знакомых понадобится работа. Наслушалась грустных историй о семьях, где кто-то тяжело болел, или рано забеременел, или вынужден был покинуть родной дом из-за войны, и хотя мы могли платить не больше пяти тысяч песо в день — хватало только на овощи и рис с рынка, многие девочки были заинтересованы.

Мне казалось, что мама выбирала тех, кто был похож на нее в юности, но все эти девочки никогда не оправдывали ее ожиданий.

Одна служанка чуть не украла Кассандру, когда та была еще в колыбели. Мама даже не знала имени этой девочки, знала лишь, что та бесплодна, что чрево ее *сухо, как песок в пустыне*, — так она сказала. Почти всех наших знакомых хотя бы раз в жизни похищали, это было совершенно обычным делом: партизаны требовали выкуп и потом возвращали людей обратно, а кое-кого и не возвращали, и человек исчезал навсегда. Неудавшееся похищение Кассандры стало курьезом, любопытным исключением из правила. И портрет той бесплодной до сих пор хранится в нашем семейном альбоме. Она смотрит через прозрачный лист защитного пластика, волосы мелко курчавятся, на месте одного из передних зубов дыра. Мама сказала, что оставила ее фотографию в альбоме, потому что это часть нашей семейной истории. Папина фотография тоже там есть. На ней он молодой на коммунистической демонстрации. Джинсы клеш и темные очки. Зубы стиснуты, кулак выброшен в воздух. Выглядит круто, но мама говорит, это напускное; на самом деле папа тогда блуждал в потемках и, как библейский Адам в День матери, не знал, куда себя деть.

Наш дом был женским царством с мамой во главе, и мама вечно пыталась найти нам четвертую. Таковую же, как мы, или таковую же, как она в юности, — бедную, но стремящуюся вырваться из бедности, — чтобы на ее при-

мере исправить несправедливость, которой сама подверглась.

У ворот мама решительно протянула руку девочке Петроне. Девочка Петрона застыла, и мама взяла ее руку в свои ладони и резко потрясла. Рука девочки Петроны, безвольная и вялая, раскачивалась, как волна.

— Привет, как дела? — спросила мама.

Девочка Петрона кивнула и уставилась в землю. Кассандра была права. Девчонка не протянет у нас и месяца.

Мама обняла Петрону за плечи и провела в сад, но подниматься по каменным ступеням на крыльцо они не стали: свернули налево, обошли клумбу и направились к дереву, росшему у ограды подалее; мама указала на него и что-то прошептала.

Мы называли это дерево Пьяным деревом, *Эль Боррачиро*. А папа называл по-научному: *бругмансия арбореа альба*, но никто не понимал его тарабарщину. Ветки были все скрюченные, цветы белые, а плоды — темно-коричневые. Ядовитыми были все части, даже листья. Половина кроны нависала над нашим садом, другая половина — над улицей. Аромат от него исходил медовый, похожий на дорогие соблазнительные духи.

Мама коснулась поникшего шелковистого цветка, шепча что-то девочке Петроне; та смотрела на цветок, слегка покачивавшийся на стебельке. Думаю, мама предостерегала ее насчет дерева, как когда-то предостерегала меня: цветы не собирать, под деревом не сидеть, долго рядом не стоять, а главное, пусть соседи не догадываются, что мы сами его боимся.

Потому что все наши соседи Пьяного дерева боялись.

Одному Богу известно, зачем мама решила вырастить его в саду. Может, потому что в глубине души была способна на подлость и всегда говорила: *никому нельзя доверять*.

Разговаривая с девочкой Петроной, мама подняла с земли упавший белый цветок и выбросила за ограду.